

ОГЛАВЛЕНИЕ

Собеседник жизни. <i>Предисловие А. М. Гелескула</i>	3
<i>Из предисловия автора к французскому изданию «Восстания масс»</i>	28

ВОССТАНИЕ МАСС

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I. Феномен стадности	65
II. Исторический подъем	75
III. Высота времени	85
IV. Рост жизни	96
V. Статистическая справка	106
VI. Введение в анатомию массового человека	113
VII. Жизнь высокая и неизменная, или Рвение и рутина	122
VIII. Почему массы вторгаются всюду, во все и всегда не иначе как насилием	131
IX. Одичание и техника	142

X. Одичание и история.	154
XI. Век самодовольных недорослей.	164
XII. Варварство «специализма».	178
XIII. Государство как высшая угроза.	187

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

XIV. Кто правит миром	199
XV. Переходя к сути дела.	280

СОБЕСЕДНИК ЖИЗНИ

Легко думать, но трудно быть.

Фридрих Ницше

Детские мечты обычно несуразны, но редко беспочвенны. Они много говорят о человеке, и не столько о его стремлениях, сколько о его жизненном заряде.

Иосиф Бродский, по воспоминаниям, мечтал стал футболистом и летчиком. А стал поэтом — занятие сродни воздухоплаванию, и тоже, как он убедился, небезопасное. Будущий философ Хосе Ортега-и-Гассет мечтал стать журналистом и тореадором. В общем, ничего удивительного: испанские подростки играли тогда в бой быков, как теперь — в футбол, и, кроме того, Ортега, по его словам, «родился в типографии». Действительно, под его колыбелью, этажом ниже, работала ротационная машина — отец, тоже Хосе Ортега, издавал основанную тестем газету «Беспристрастный».

Удивительней, что Ортега действительно стал журналистом, и даже единственным в своем роде.

Он не только основал ряд журналов, но и в течение двадцати лет издавал альманах «Зритель» («Эль Эспектадор»), где был всем сразу — директором, редактором и единственным автором. Стиль Ортеги заставляет вспомнить и другую его детскую мечту — отточенную графику испанской корриды, поединка по законам танца.

Его излюбленным, персональным жанром стала своеобразная публицистика — философские импровизации по самым разным, порой случайным поводам. Философия шла в гушу жизни, на площадь. «Философия была, есть и будет наукой действия», — говорил Ортега и охотно жертвовал академической обстоятельностью ради внятности. «Ясность — это вежливость философов», — считал он. И правда, язык его всегда прост и ярок, а живая, атакующая манера заставляет быть начеку, защищаться, искать противоречия, находить возражения — короче, заставляет думать. Он обращался к здравому смыслу, помня, что мысль, которой невозможно возразить, не стоит того, чтобы ее высказывать. Будить мысль, непременно самостоятельную, было его постоянной заботой, и совет его гениально прост, хотя и трудноисполним: «Главное, чтобы человек всякий раз думал то, что он действительно думает». Четверть века Ортега возглавлял в Мадридском университете кафедру метафизики. Его друг, поэт Хуан Рамон Хименес, любивший философа боль-

ше, чем его философию, с досадой восклицал: «Если б он так писал, как говорит!» Когда весной 1929 года в разгар студенческих волнений власти закрыли университет, Ортега прочел свой курс лекций в городском театре. Одиннадцать философских вечеров прошли с аншлагом. Устная речь умирает на лету, и то, каким собеседником и лектором был Ортега, приходится принимать на веру. Но догадываться можно. Во всех его работах есть оттенок импровизации, непринужденной и полной неожиданностей беседы. Великие умы имеют обыкновение изъясняться тяжело и трудно, и к этому все привыкли. Легкий дар Ортеги вводил в заблуждение и, надо заметить, долго мешал распознать в нем мыслителя. Нильс Бор советовал ученым не выражаться понятней, чем они думают; Ортега поступал как раз наоборот и потом с горечью вспоминал: «Более тридцати лет наши испанские псевдоинтеллектуалы победно заявляли, что мои работы — не философия, поскольку я “сочинял метафоры, и только”... Эти люди не смыслят ни в чем и уж совершенно не смыслят в красоте. Они не подозревают, что по ней можно оценивать жизнь или труд, и даже не догадываются, насколько существенно и важно, что человек бывает красив». Кстати, Эйнштейн, которым Ортега неизменно восхищался, не раз подчеркивал эстетическую сторону науки и «внешнему оправданию» теории противо-

ставлял ее «внутреннее совершенство». Красота самоценна, в том числе и «красота слога». Многие страницы Ортеги, не будучи беллетристической, признаны в Испании образцами прозы.

Литературный дар философа не оспаривался никем, сложнее обстоит дело с его философией. Одни — немало их и у нас в России — считают Ортегу крупнейшим мыслителем нашего века, по крайней мере самым насущным и наименее односторонним. Другие отказывают ему в философской солидности — и по-своему правы. Широта и темперамент Ортеги помешали ему свести свои взгляды в законченную систему и оставить капитальный труд добротного классического образца. Втайне он, видимо, жалел об этом и недаром, признав «Бытие и время» Хайдеггера превосходной книгой, с ревнивой горечью заметил: «Вряд ли там найдется пара значительных идей, которые не встречались бы, иногда на тринадцать лет раньше, в моих работах». Его философские этюды рассыпаны по книгам попеременно со статьями на злобу дня.

Что ж, этюды рождаются на вольном воздухе. Однако, читая, следует помнить, что это фрагменты единого полотна.

Оспаривать Ортегу — право философов, а судья в этом споре — время, и, не вступая в спор, хотелось бы только сказать, почему эту книгу стоит прочесть — здесь и сейчас. В ней собраны

наименее «философские» работы Ортеги; многие из них — в форме путевых заметок: бродить и смотреть было для него потребностью. Однажды он признался Хуану Рамону Хименесу: «Я усидчиво размышлял в юности, и теперь мне думается только в пути».

Размышления Ортеги о судьбах народа, страны и мира так или иначе связаны с испанским кризисом первой трети нашего века. Казалось бы, проблемы давние и чужие. Но, оказывается, настолько знакомые, что при чтении возникает порой странное чувство — не о нас ли, сегодняшних, идет речь. Ортега всегда обращен к современности, и прежде всего к ее болевым точкам. И надо сказать, у него редкий дар диагноста. Он раньше других, еще на заре нашего века угадал его недуги. Век кончился — и пора признать, что поставленный испанским мыслителем диагноз, к сожалению, оправдался.

Знаменитая формула Ортеги «Я — это я и мои обстоятельства» часто цитируется, но вольно трактуется, и к тому же неточно переводится. Испанское *circunstancia* объемней и насыщенней; Ортега недаром подчеркивал префикс (от латинского *circus* — «вокруг, окрест»). Это не «обстоятельства», а все об-стоящее, об-ступающее — земля, небо, события и люди. Иначе говоря, среда. Ортега неохотно пользовался этим синонимом — прежде всего потому, что «среда» в его

время понималась как нечто первичное, фатально и неумолимо формирующее личность; среда была причиной, а человек — только следствием. Сам Ортега полагал иначе: «На закате первой, подлинной юности впервые сталкиваются с упорством, горечью, враждебностью человеческих обстоятельств; эта первая схватка либо раз и навсегда убивает в нас героическую решимость быть тем, что мы втайне есть, — и тогда в нас рождается обыватель, либо, наоборот, столкновение с тем, что нам противостоит, открывает нам наше «я» и мы принимаем решение быть — осуществиться».

В развернутом виде формула Ортеги звучит так: «Я выхожу в мироздание через перевалы Гвадаррамы или поля Онтиголы. Этот окрестный мир — другая половина моей личности, и только вкупе с ним я могу быть цельным и стать самим собой... Я — это я и моя среда, и, если не спасу ее, не спасусь и я».

Хосе Ортега-и-Гассет родился в 1883 году в столице Испанской империи — и едва вышел из детского возраста, как империи не стало. Она рушилась не в считанные дни, как наша, а в течение века, но финал — проигранная в 1898 году кубинская война и потеря последних заокеанских земель, добытых кровью, но политых потом и удобренных культурой, — оказался шоком. Испания ощутила себя европейским захолустьем.

«Кончилась вера в правосудие, в государственных деятелей, в партии, в администрацию, армию и, наконец, во все», — констатировал некто-нибудь, а глава консерваторов Сильвела. Казалось бы — и слава богу, но беда в том, что пошатнулась и вера в себя, в жизнеспособность нации. Вместо обновления пришли растерянность и разброд. По словам Валье-Инклана, «мой бедный народ забылся, безутешный, под звуки гитары, не в силах оправиться от двух своих самых великих потерь — утраты колоний и бесплатного монастырского супа».

Полвека спустя, уже в эмиграции, Ортега, выступая перед аргентинцами, вернулся к этой давней и болезненной теме: «Все, что мы вместе узнали и вместе прожили, все наше, пережитое вами и наоборот, — это богатство, которого нас не может лишить никто, и даже мы сами. Человек — „то, что творится“, и прошлое — все, что было со мной, с нами, со всеми, — не проходит: наоборот, бывшее, именно потому, что оно было, остается в нас, как остается шрам от раны или летнее солнце в осенней сладости винограда». И потому, заключил он, новым государствам и бывшей метрополии, хотя бы они того или нет, суждено идти сходящимися дорогами, чтобы жить общей жизнью. «Воля человека или народа поверхностна: глубины существования подчиняются не воле, а неумолимой судьбе».

Быть может, ранняя, еще в юности возникшая неприязнь к социальной апатии предопределила и философский динамизм Ортеги, и его веру в «избранное меньшинство». Таким меньшинством стало «поколение 98-го года» — цвет испанской интеллигенции. Их было немного, и действовали они врозь, но страну разбудили. Самым младшим в «поколении 98-го года» был Ортега-и-Гассет. Окончив университет, он продолжил учебу в Берлине и философской Мекке тех лет — Марбурге, а в 1910 году возглавил кафедру Мадридского университета — и вскоре уже к нему, в новый центр европейской мысли, потянулись иностранные студенты. Ортега создал «Западный журнал», затем издательство с тем же названием и стал выпускать многотомную серию «Библиотека идей XX века». А еще раньше он основал Испанскую лигу политического образования и призвал интеллигенцию идти в народ, возрождая «любовь и достоинство». И не случайно студенческие волнения, ставшие началом конца военной диктатуры, а затем и монархии, вспыхнули в университете, где властителем дум был Ортега.

Конец его просветительским и политическим усилиям положила гражданская война. Ортега эмигрировал и вернулся на родину уже стариком. Так и не приняв испанское гражданство, он остался внутренним эмигрантом. Умер он

в 1955 году, и цензурная директива «по случаю смерти Х. Ортеги-и-Гассета» гласила: «Публиковать не более трех статей — биографию и две заметки, где следует подчеркнуть его заблуждения в религиозной сфере». Но, прощаясь с Ортегой, подчеркивали другое: «Его философия стала частью нашей судьбы».

Европейская мысль как-то привыкла не ждать от испанской (да и русской) философских откровений. Социальные прогнозы Ортеги дошли до европейского слуха много раньше его идей, и лишь теперь оценены проницательность и оригинальность испанского мыслителя. Быть может, именно оригинальность и мешала этому, по крайней мере — одна ее черта, непривычная в новейшей философии: Ортега непритворно любил свое, то есть наше, время и считал, что оно «выше любого другого и ниже себя самого». В последнем он, казалось бы, мог убедиться, и не раз — его опасения сбывались, а надежды рушились на протяжении всей жизни. Юность его совпала с национальным кризисом; он ждал, что кризис приведет к выздоровлению, и не дождался. Он мечтал о единой Европе и стал свидетелем двух мировых войн. Он пережил военную диктатуру, боролся с ней и способствовал ее падению, но новая диктатура, военно-фашистская, пережила его. И все же Ортеге нравилось его время. Он не сожалел

о вчерашнем: «Безрадостно знать, что прогресс — это шаг за шагом по дороге, неотличимой от уже пройденной; такая дорога больше смахивает на тюрьму, которая растягивается, как резина, не выпуская на волю». И говорил о сегодняшнем дне: «Мы чувствуем, что вырвались из тесного загона в бескрайний звездный мир, настоящий, грозный, непредсказуемый и неистошимый, где все возможно, все — от наилучшего до наихудшего... Одному Богу известно, что будет завтра, и это втайне радует нас, потому что лишь в открытой дали, где все неожиданно, и есть настоящая жизнь». Звучит романтически, но следует помнить, что Ортега всегда обращался к творческому началу в человеке, а творческое начало деятельно. И в ком оно есть, тот не вздыхает о недоступном каррарском мраморе, а берет обрубок дерева и создает из него образ. Быть может, на века.

Ортега был не столько учителем жизни, сколько ее поборником, и его полемика с Хайдеггером, которого он признавал родственным мыслителем, вызвана отнюдь не ревностью первопреходца. Мысль их родственна в истоках, но течет по разные стороны водораздела. Оба исходили из драматического противоречия — человек не существует вне мира, но мир человеку враждебен; оба противопоставляли «подлинное бытие» (у Ортеги — «подлинная жизнь») отчужденному от себя существованию, пассивному растворению в без-

ликой массе. Но у Хайдеггера подлинное бытие осознается как небытие, бытие-к-смерти, и единственное, конечное достояние человека — *Freiheit zum Tode*, свобода-к-смерти. За этим угадывается традиция, сумрачная готика старонемецкого мистицизма, тени Майстера Экхарта и его учеников, устремленных в Ничто. У Ортеги другая тональность, иные тени осеняют его философию жизни, и в его «подлинном бытии» угадывается «героический энтузиазм» Джордано Бруно. «Жизнь, — говорит Ортега, — единство смерти и вечного возрождения, воли к существованию *malgré tout*¹, опасности и дерзкого вызова, отчаянья и праздника... Я не верю в „трагический смысл жизни“ как конечную форму человеческого существования. Жизнь — не трагедия и не может ею быть. В жизни же трагедии возможны и случаются».

Назвав свою философию жизни рациовитализмом, Ортега ввел понятие «жизненного разума», призванного не столько искать, сколько рождать истину: «Человеку не дано никакого заранее предопределенного мира. Ему даны только радости и горести жизни. Движимый ими, человек должен создать мир». Человек мыслит потому, что существует, а не наоборот, и созданная им картина мира позволяет противостоять хаосу обстоятельств. В самом упрощенном понимании «жизненный

¹ Несмотря ни на что (*фр.*).

разум» призван помочь, говоря словами старинной молитвы, изменить то, с чем человек не в силах мириться, и смириться с тем, чего он не в силах изменить, но главное — помочь отличить первое от второго. Как учит Ортега, человек должен распознать свою судьбу и следовать ей, иначе вся жизнь его будет лишь неудачным самоубийством.

«Жизнь всегда единственна, это жизнь каждого, — говорит Ортега. — Жизни „вообще“ не бывает. Жизнь — неизбежная необходимость осуществить именно тот проект бытия, который и есть каждый из нас. Этот проект, или „я“, — не идея, не план, задуманный и произвольно выбранный для себя. Он дан до всех идей, созданных нашим разумом, и до всех решений, принятых нашей волей. Более того, как правило, мы имеем о нем лишь самое смутное представление. И все-таки он — наше подлинное бытие, наша судьба. В нашей воле осуществить или не осуществить жизненный проект, иначе говоря — самих себя, но не в наших силах его переиначить, обойти или заменить».

Резонно заподозрить в «жизненном проекте» укрытое в светские одежды предопределение, а в Ортеге — фаталиста. Возможно, его самого смущал этот кальвинистский налет, искажавший динамизм его мысли. Недаром он не раз и не два, почти в одних и тех же словах, внушал: «Жизнь, данную нам, мы не получаем готовой, а должны сделать ее, каждый — свою... Мы должны вну-

тренне оправдать свой выбор, то есть понять, в каком из возможных действий мы полнее осуществимся, в каком из них больше смысла, какое из них наиболее наше. Не решив этого, мы обманем и предадим себя, уьем частицу нашего жизненного срока, тем более что времени у нас в обрез». Динамизм в том, что жизненный проект возникает в процессе осуществления; человек обречен постоянно решать — делать выбор и нести за него ответственность. Ортега относит это не только к личности, но и к народу, эпохе, цивилизации, поскольку человек — наследник огромного прошлого и обладает исторической памятью — «историческим разумом».

«Наша жизнь, — добавляет Ортега, — стрела, пущенная в пространство существования, но стрела эта сама должна выбирать мишень. Выбор не бывает абсолютно свободным, наша воля ограничена обстоятельствами. Но упорная слепота идеологов берет в расчет лишь эту ограниченность жизненной свободы, не замечая, что мы никогда не бываем полностью предопределены... Поэтому ничто так достоверно не говорит о человеке, как высота мишени, на которую нацелена *его* жизнь. У большинства она ни на что не нацелена, что тоже своего рода целенаправленность».

Но это лишь одна сторона жизни, неотторжимая от другой: «Не представляю себе ничего более адекватного жизни, чем кораблекрушение. Речь